

— Маманя, фельчир идёт!.. — крикнул кто-то, выбежав из толпы пацанов, которые нынче гуртовались в улочке, повиснув на глухом высоком заборе. — Прячься!..

Я оглянулся и в широкую, едва ль не с ладонь, щель увидел на соседском подворье седоголовую женщину. Та стояла, держа на вытянутых руках кринку с молоком. Пар шёл от него, видать, хозяйка только что подоила корову, приняв кормилицу от Сёмки-пастуха, косоротого ширококостного мужика лет шестидесяти, который нынче, растолкав своих подопечных по мужичьим дворам, ощутил облегченье на сердце. Это его состояние укрепилось оттого, что он, как и седоголовая женщина, предупреждённая сыном, увидел тихонько бредущего по улочке косолапого, среднего росту, востроногого человечка в серой кепке и изрядно потрёпанной курмушке. И, в отличие от седоголовой женщины, от неожиданности выронившей из рук кринку с молоком, обрадовался старику, признав в нём Фёдора Кузьмича Оглоблина.

Было тому лет семьдесят, а может, чуток побольше, но никто про это не знал, как и он сам, мало интересовавшийся собой, а только теми чувствами, что изредка выводили его на улочку, где нет-нет, да и попадались люди из дальних краёв, с кем можно было потолковать за жизнь. Со своими-то уж не поговоришь, они откровенно сторонились его, а коль скоро он заглядывал

к кому-либо на подворье — мало ли чего надобно по хозяйству — наспех перекрещивали себе лоб вдруг ослабевшей рукой, прежде чем спросить с придыханием, захлёбисто:

— Ну, и чё те приспичило придти ко мне?

Фёдор Кузьмич не мешкал, сказывал про надобность, что привела на чужое подворье, а когда хозяева делились тем, что у них было, а у него не было, и делали это поспешно и суетливо, норовя побыстрее выпроводить незваного гостя за ворота, иной раз говорил смущённо:

— Ну, вы даёте!..

И ему отвечали тоже не без смущения:

— Шёл бы ты своей дорогой, мил-человек, а то у нас нонече забот полон рот, не знамо, как сладим с имя.

Никто не приглашал Фёдора Кузьмича почаёвничать, поесть пирога рыбного, как случалось раньше, когда был молод и лазал по мужичьим дворам в белом халате с задрипанным чемоданчиком в руке. Числился он в те поры по медицинскому списку фельдшером и нередко подсоблял болящему. Он был один на всю ближнюю округу, куда входили три поселья и два улуса, раскидавшие свои юрты близ Байкала.

Фёдор Кузьмич знал, отчего не приглашали его к столу, но делал вид, как если бы ни про что не догадывался. Так было легче жить. А и впрямь, иль всякое знание нужно человеку? Да нет, пожалуй. Фёдор Кузьмич пришёл к этому убеждению недавно, и это помогало не потерять себя. Теперь он мало приглядывался к тому, что вершилось окрест. И ладно, что так... А не то и вовсе стала бы раскалываться голова от мыслей.

Иной раз посещало Фёдора Кузьмича нечто, во что нельзя поверить, а и не поверить тоже нельзя, вон оно, рядышком, протяни руку и дотянешься до дива. Вдруг, да и узревалося, навроде бы он, подчинившись невесте чему, оказывался вознесён высоко-высоко, к синегрудым домикам, которые и раньше воображались ему, когда с помощью своей необузданной мысли уносился в неведомые земли. Мнилось, что он ходил промеж небесных домиков, а иной раз и заглядывал во дворы. Те бывали обычно пустынно и ничего-то не углядишь тут, кроме ярких звёздочек, промелькивающих то в одном месте, то в другом. По недолгому размышлению Фёдор Кузьмич решил, что это души людей, и не надо бы им мешать. Тем, наверное, непросто следить за своими просторными небесными подворьями. А то, что тут сохранялся какой-никакой порядок, он понял после первого же огляда новины, представшей перед глазами и как бы слегка затомившей несвычностью со всем, что сохранялось в памяти. Впрочем, он недолго изводил себя раздумьями, привыкнув ровно, не больно-то колеблясь в чувствах, принимать самое неожиданное, а малость спустя, очухавшись, пытаться разобраться в себе. Да, главным образом, в себе. Он вдруг — хотя почему вдруг-то? Это, пожалуй, давненько накапливалось в нём — начал меньше думать про тех, кто жил рядом с ним, но не желал с ним знаться. В конце концов, он сказал, мысленно отвечая на те вопросы, что бродили в нём: “А и не надо... Кому хуже-то?..” И даже слегка загордился. Но сейчас же и добавил: “Как вы ко мне, так и я к вам...”

Тут, наверно, надо сказать, отчего к Фёдору Кузьмичу поменялось отношение жителей Подлеморья. Случилось это, когда смута, выхлестнувшаяся на московские улицы, настырная и жадная, смела прежнее государство, а новое, пустившее по миру тысячи людей, ещё не набрало силу. Тогда Подлеморье охватил большой мор, всё чаще стали помирать люди в посельях, и неясно, отчего, вроде бы ещё вчера человек был здоров и копался в своём огороде, другой-то работы уж не сыскать, как вдруг оседал наземь, схватившись за живот, и — дух из него вон.

Фёдор Кузьмич в те поры вместе со вчерашним студентом Иркутского медицинского института, рыжеусым круглолицым парнем с красными руками, замаялись бегать по дворам. Они не умели понять, что происходит, и редко когда улавчивали подсобить человеку. От этой неумелости и неловкости в действиях, от робости, которая сыскала прописку в их растерянных лицах, мало-помалу те, в дома которых ещё не нагрянула беда, перестали пускать

к себе людей в белых халатах, посчитав их повинными в несчастьях, как скрутили поселя в бараний рог. Дескать, и глаз у них дурной, вроде бы как порченный, и руки злой чернотой облиты. Хотя отчего бы чернотой-то? Скорей, чернилами.

Едва завидев медиков, тут же бежали в свои дома и запирались. И сказал тогда некто, умудрённый летами, что давили на слабые плечи тяжёлыми камнями:

— Как в Великую Отечественную... Мы в те поры пугались одного токо вида почтальона. Как могли, прятались от его. Иная из молоденьких баб, бывало, заберётся со страху на сеновал, одни токо пятки торчат. Да разе ж спрячешься от беды-напасти? Не седни, так завтра забредала в избы и надолго поселялась в них.

Уж давно нету мора, и во дворах солнышко с утра гуляет весёленькое, и вроде б ничто не напоминает о несчастье, поломавшем жизни поселий, ан нет, памятка о прошлом сохранилась в людских сердцах. И теперь перепадало Фёдору Кузьмичу, в котором не хотели видеть потрепанного невзгодами старого человека, а только того, кто причастен к жестокому мору. И малым детям ловчили передать, как если бы по наследству, свою нелюбовь к бывшему фельдшеру. Нет-нет, да и выбегал голопузый пацан на середину улочки, завидев ковыляющего Фёдора Кузьмича, и уж если не предупредил мать о бывшем фельдшере, то успевал пару-другую раз обежать его, выкрикивая: “У, неладный, у, окаянный, у, меченый!.. Чтoб ты сдох”.

А что же Фёдор Кузьмич? Обижался, конечно. Не однажды сказывал про свою обиду Сёмке-пастуху, с кем нынче только и знался. Всех же остальных, хотя бы и тех, кто не держал на него сердца, вроде бы не замечал. Да и они, надо сказать, чаще воротили от него морду, и не почему-то там, по какой ни то причине, просто так, держа опаску, чтоб иная из баб не накинулась и на него, после того как поговорит с фельдшером, обвиняя в смертном грехе. И не зря опасались. Мужики чаще нечем было ответить осерчавшей бабе, у которой бешено горели глаза. Впрочем, не сказать, чтоб тут всё было настроено на одну волну. Случалось, иная из баб, мысленно увидав себя невесть отчего исходящей лютой злобой, — старая-то боль вроде бы поистёрлась и уж не так измучивала, — тут же всенепременно сбегла бы с улочки, да в те поры появлялась длинноязыкая Марфа и, ехидна старая, строго, едва ль не с подозрением, смотрела на неё. Ну, куда тут деться грешной? “Противу обчеству не попрёшь!.. Да и надо ли? Иль, может, Фёдор Кузьмич покаялся в своей вине пред людьми? Ничё подобного! Не приведи какой вреднощий! Стоит один противу всего обчеству, и — дюжит. Не иначе, как ктой-то от небес пособляет ему? Но да вряд ли. Чё бы стал небожитель возиться с фельчиром, который по сей день пребывает в недоумении, пошто люди ополчились противу него?.. Он чё, иль не старался пособить болящему? Иль силком загнал кого-то в могилу?..”

Фёдор Кузьмич дождался, когда Сёмка-пастух поравнялся с ним, кивнул и двинул дальше, всё так же не поспешая в шаге и шибко сутулясь. И не от того, что лета надавливали, иной раз и вовсе не замечал их, порой даже думал: “А доведись теперь столкнуться с давешним мором, поди, снова делал бы то же, что и в те дни. Я ещё кое на чё способен. Жаль токо, никто про это не догадывается. Хотя нет... Вон Сёмка-пастух... Чутьё у него такое... враз приметит, в каком ты состоянии и стоит ли толковать с тобой, иль погодить...”

Угадывал Сёмка-пастух в Фёдоре Кузьмиче, отчего и был не в тягость ему, привыкшему к тому, что он уж много лет один-одинёшенек. Жил, правда, сынок в городе, но тот нынче затерялся среди множества людей, и уж не сыщешь к нему дороги.

Сёмка-пастух лёгко на ногу, да и на слово тоже, которое бежит впереди него, всякая загугылина, встреченная в улочке, вызывает в нём живейший интерес. Вот и теперь углядел в заплоте у Фёдора Кузьмича дыру, вроде бы как проделанную людскими руками, и тут же заволновался: с чего бы? Пацаны-то уж не балуют. Да и осталось их на поселье всего ничего. Надо быть, сыскался вороватый человек; много разного люда бродит нынче по

Подлеморью, попадаютоя и те, кто нечист на руку. А может, просто с голодухи заклинивает у них в голове?.. Сёмка знает: и такое бывает... А ежели тут чё-то другое? Тогда жди беды. Иль не беда, коль скоро и на поселье зачнут запирать избы на семь замков...

Много чего знает Сёмка-пастух, небось, в самые дальние степные украинны гоняет скотину, когда засуха опалает и подлеморские земли. Ему там никто не мешает. Только в родной Берёзовке ещё держат коров. В других-то местах мало осталось скотины. Покосов-то подле поселий никаких, сплошь каменья, промеж которых растёт только горькая полынь, почему даже те, кто хотел бы заняться хозяйством, ещё подумают, прежде чем потратить деньги на корову. Не то в Берёзовке, что сыскала себе пристанище в устье большой северной реки. Сюда даже хлётский февральский ветер едва прoderётся сквозь высоченные скалы. И, ослабнув, сгинет. "Райское место", — только и скажешь, хотя бы однажды побывав тут. Трава здесь дивно какая славная, не побитая ветрами, не измученная лютым безводьем. Всё тут по разуму выстроено. Не вноси в природный порядок разброд, бери, чего надобно и лишь когда приспееет время, не жадничай: поднял зародец из десяти копен, и ладно, хватит на корову. И будет тебе уважение за это не только от людей, а от матушки-природы.

Уклад жизни в Берёзовке заметно отличается от уклада жизни в других посельях. Там-то скотинку едва только и встретишь в улочках, к тому ж худую, с опавшими боками, а по здешним улочкам сытые коровы по вечеру, дожидаясь хозяев, лениво бродят, брызжа молочком из полного вымени, и с любопытством заглядывают на чужие подворья, а то и охотно пометят рогами какую ни то заплотину. И ничего, всё им сходит с рук, редко когда выйдет из низких воротец розовощёкий пацан и прикрикнет на расходившуюся скотину. Тихо окрест, но через какое-то время тишина обрывается — это когда хозяева, бренча подойниками, станут загонять коров во дворы, чтоб подоить, и телята, заждавшиеся кормилицы, повыскакивают из стаек и из разных сбитых на лёгкую руку пристроев, бывает, что и выбегут за воротца. Загони потом их!.. Прямо напасть. Только напасть-то приятная сердцу, она прибавляет весёлых хлопот.

Совсем недавно и у Фёдора Кузьмича была коровёнка, доставшаяся от дальней родственницы, отдавшей Богу душу, старенькая, правда, коровёнкато, и молока давала чуть побольше литровой кастрюльки. Но и этого хватало ему и Сёмке-пастуху, который жил на противоположной стороне улочки в захудалом, как, впрочем, и у Фёдора Кузьмича, домике недалеко от бывшего колхозного клуба, куда уж теперь никто не забредает, даже пацаны, и те обходят его стороной, словно бы опасаясь чего-то. А и впрямь было однажды... На крюке, вбитом в стену, тут повесился странствующий человек. Вроде бы в своём уме находился и даже с Сёмкой-пастухом говорил, правда, без всякого интереса, как если бы по принуждению, и глаза у него были потухшие. Сей человек провисел на сцене с неделю, пока Сёмка-пастух невесть по какой причине, теперь уж и не скажет, не вспомнил про бедолагного и не поднялся на старое скрипучее, ходуном ходящее под ногами крыльцо и не отворил дверь в клуб.

Сёмка, увидав покойника, пытался позвать кого-либо, чтоб помогли, но всяк, едва прослышав про надобное, тут же притворялся болящим иль бегущим по важному делу. И тогда Сёмка-пастух кликнул своего приятеля, хотя в ту пору в спине у того покалывало, и слабость ощущалась во всём теле, как если бы с похмелья. А ведь он уж давненько не прикладывался к спиртному. Охоты не было. Иль старость подоспела? Не рано ли?..

Фёдор Кузьмич и Сёмка-пастух вынули из петли мужичонку, а потом закопали его прах чуть в стороне от деревенского кладбища, поближе к голцам. Там уж были захороненья побродяжних людишек. Долго раздумывали: поставить ли крест на могилке? Решили, что не будут этого делать. Бабы-то, чего доброго, крик подымут: мол, нехристя в православные возвели. А по какому-такому праву?..

Нет уж, лучше с бабами не связываться. Чудно, однако ж, давно ль минуло то время, когда они отлично ладили с Фёдором Кузьмичом. Да и пошто

было не ладить: мужик-то не вредный, к тому ж много лет как вдовец. Кое-кто приглядывался к нему. “А чего ж?.. Долго ль одной-то куковать?.. Уж третий год пошёл, как помер муженёк”. Но когда навалился на дома в Подлесье страшный мор и стал появляться на подворьях Фёдор Кузьмич об руку с молодым врачом, отношение к нему поменялось. Поползли дурные слухи, будто-де вся напасть от горе-целителей, от их неверья в Божью благодать. Иль кто-то помнит, чтоб они ходили в церковь...

Вот ведь как. Ещё вчера уважаемый человек в одночасье сделался чужаком. Не поменялось отношение к нему и тогда, когда в посёле прослышали, что он и после того, как ему запретили лечить людей, остался верен себе, и теперь уже подсоблял разному лесному зверю. Нередко он приводил на подворье малолеток-изюбров, зашибленных деревьями, но чаще упавшими с ближних скал камнями, и подолгу возился с ними, а потом выпускал на волю. Случалось, повзрослев, иной изюбр возвращался и тёрся у ворот, напрашиваясь в гости. Людям порадоваться бы за своего соплеменника, ан нет, они и тут увидали руку нечистого, который якобы управлял Фёдором Кузьмичом.

Позже прослышали, что бывший фельдшер делает “металлическим метром” какие-то замеры подле избы. С чего бы?.. Подозрительно. Дальше — больше. И вот уж стали плести про него всякую непотребь, хотя в глубине души не верили, что тот знается с нечистой силой. Они поступали так потому, что то же самое делали и другие. Люди запомнили про то, что, прячась друг за дружку, легко угодить в замкнутый круг, откуда уж не будет возврата. Когда б помнили, небось и зла промеж них поуменьшилось бы.

Нынче Фёдор Кузьмич не позвал в свою избу Сёмку-пастуха. Тот продолжал стоять посередь улочки, когда бывший фельдшер свернул к себе на подворье, даже не глянув на него. Сёмке-пастуху пойти бы за стариком и попытаться узнать, пошто он нынче как в воду опущенный. Глядишь, тот и поведал бы. Не раз уж бывало: в какой-то момент, хотя бы и посреди оживлённого разговора, Фёдор Кузьмич словно бы нечаянно сказывал про это, а потом опускал голову и уж никого не замечал рядом, до кончиков пальцев на руках уйдя в те мысли, что жили в нём и до сей поры ничем не отличались от прежних, были вполне управляемы и не загоняли в душевную мутовку. А вот теперь они сделались другими, ладно ещё, поедом не ели. Всё ж Фёдор Кузьмич кое-что утратил в душе своей и не хотел бы, чтоб кто-то видел его теперь. Сёмка-пастух не сразу, конечно, но догадался, что творилось в душе у приятеля, отчего тот сам не свой, а в длинном жёлтом лице с рыжеватой щетиной и враз помутневшими, как если бы от большого смущения глазами, появилось скорбное выражение. Сёмка-пастух догадался про это, но и своему приятелю не сказал ни слова. И то было удивительно для него, не привыкшего держать рот на замке, постоянно пребывающего в напряге от словесной шелухи, которая, бывало, и самому надоедала. Да только вот напасть: он не всегда мог прервать льющийся поток слов, что-то мешало. Но нынче он вроде бы совладал с ним, подчинил собственной воле и, хотя бы и ненадолго время, сделался молчалив, а чуть погода удивился, сколько же в молчании добросердечия и душевной мягкости.

Сёмка-пастух и сам не знал, что с ним происходило и отчего на сердце было томяще и вместе влекуще к чему-то. И он не хотел бы ничего менять в себе, но тут к нему подошла полуслепая старуха, от безделья ли, от одиночества ли страдающая любопытством, почему к ней относились не то чтоб с насторожкой: “А, велика беда, пуцай лопочет, про чё хочет”, — скорей, с досадой, но не такой сильной, чтоб сказать ей, чтоб не лезла в дела, в которых не смыслит; старуха подошла к Сёмке-пастуху и спросила как бы даже без всякого интереса, вяловато, тихим, словно бы издали сошедшим к ней голосом, хотя синюший, кажется, в самое нутро проникающий глаз у неё пуце прежнего запосверкивал:

— А скажи, мил-человек, правду ли бают, будто-де у твоего приятеля, у фельчера, и вовсе в голове поехало, и он наострил переносить избу куда ни то, где б людей было помене и пораздольней для духу его?

Сёмка-пастух покрутил головой, не сразу умея понять старуху, но потом сказал, нахмура лохматые брови:

— Мелешь почём здря.

Он сказал так-то и засмушался, всё ж не сразу отошёл от старухи, дождался, когда она, опустив голову, заковыляла, опираясь на палку, по улочке. И уж потом стронулся с места. Навострился идти домой, а ноги сами, как бы по своей воле, привели его к старенькому домику, накренившемуся над ближними водами Байкала, которые нынче были спокойны и нестрагиваемы, хотя понизовик бродил по земле, цепляя и холм, на котором стояла изба Фёдора Кузьмича. Он подошёл к калитке, отворил её, зашёл во двор, потолкался возле порожка, выглядывая хозяина, а не сыскав его глазами, взял в руки топор, что лежал под нижней крыльчатой плахой, попробовал пальцем лезвие, как если бы в том предприятии, которое задумал, имело значение, остро ли отточен топор. Но это не имело никакого значения. А сделал он так по давней, въевшейся в кровь привычке, ни про что не думая. Так поступали его дед и прадед, так поступал и он, когда брал в руки топор. Он нынче взял топор и подошёл к поленице, где накрытые брезентом лежали листовничные чурки. Выбрал одну из них, поставил на попа и уж занёс над головой топор, когда услышал, как скрипнула калитка и на дорожке, ведущей к избяному крыльцу, появился хозяин. Он увидел Сёмку-пастуха и, приближившись к нему, сказал виновато:

— Сам-то я так и не соберусь дровишек наколоть. Слыхать, лютая зима предстоит нынче.

Сёмка-пастух ответил не сразу, а только когда управился с толстенной чуркой, распластав её до живого нутра. Ему поглянулось, что Фёдор Кузьмич, подойдя, легко заговорил с ним, и он тут же спросил у него с немалой озабоченностью:

— Ну, как там?..

Фёдор Кузьмич вздохнул, сказал с грустью, присаживаясь на среднюю приступку крыльца и не выпуская из рук рулетку:

— Ничё хорошего. Изба-то еще на десять сантиметров приблизилась к ближнему урезу воды. Байкал-то всё работает, накидывает волны на прибрежные земли. Скоро, поди, и до моего подворья доберётся и отымет избу. Иль приборёт меня вместе с нею?.. Хорошо бы так-то!..

— А я слыхал, усыхает Байкал-батюшка, и воды в ём делается всё меньше. Чего б ему на тебя-то покушаться?.. Небось, других забот хватает.

— Ты так думаешь? — неуверенно сказал Фёдор Кузьмич. — Поди, зря ты... Где-то, может, и усыхает, но у нас держится молодцом. Никому не поддаётся, даже самому злому недругу.

Вспомнил Фёдор Кузьмич байку и сказал с некоторой неуверенностью: байка-то стара больно, и Сёмке-пастуху может не поглянуться, что он подсовывает ему невесть что:

— Было так, — сказал он, отводя глаза от приятеля. — В давнюю-предавнюю пору, когда Байкал токо зачинался и не было в нём теперешней силы, на берегах его, заставленных тонкоствольными деревьями, появился большой зверь, и был он жесток и коварен, и малой птахи не пожалеет, и тут же, схвативши, захлещает её в рот и съест. Так же поступал и со зверем покрупней, люто свирепел, когда встречался с ним, как если бы и вовсе шалел и не успокаивался, пока не одолевал его. Бывало, и солнце, играющее в ближних волнах, норовил затенить своими огромными лапами, на которых ещё не засохла чужая кровь. Не знал, отчего он такой, отчего ему приятно вершить зло, про которое сам-то не сказал бы, что это зло, думая, что это лишь приятное для него действие, без которого всё в нём померло бы, оборотилось бы в пыль. Так и случилось годы спустя. И всё потому, что не остановить было время, оно текло спокойно, ничему в мире не подчинялось и никому не позволяло властвовать над собой. Пред ним склоняли головы и самые сильные и дерзкие, подобно большому зверю, который нынче один остался на байкальских берегах. Те, кто прежде жил в Подлесье, иль были побиты им, иль, спасая себя и свой род, бежали в дальние земли. Этот зверь подымал руку и на время, но оказался бессилён совладать с ним и с каждым днём всё больше ослабевал в духе. И, когда осознал, что уж не властвовать ему над Подлесьем, поднялся на высоченную гору, зависшую над ближними волнами,

и споровил прыгнуть с неё, но силы вдруг и вовсе оставили его, и от худобы и неприятия мира он оборотился в скалу, которую люди назвали Скалой зла и по сей день обходят её стороной.

Байкал-батюшка после того, как зверь утратил свои силы и уж не могчинить зла, а потом и сгинул, заметно окреп, а время спустя сделался властным над ближними землями. И это стало благом для всех, а пуще того для людей, которые начали возвращаться на его берега. Надо сказать, никто из них ни тогда, ни теперь так и не побывал на вершине той скалы, опасаясь потревожить душу зверя. Боясь, что она после этого не найдёт себя. Про то сказывали старцы. А люди в Подлеморье привыкли доверять старцам.

Фёдор Кузьмич сказал про это голосом тихим, едва ль не шелестящим, подобно нижним речным травам, и покосился на приятеля, думая, что тот не согласится с ним, хотя, может, сразу и не покажет виду. А когда, по его понятиям, так случилось, когда Сёмка-пастух приметно оживился, и в глазах у него появилось что-то упрямое и досадливое, Фёдор Кузьмич поднялся с крыльца и пригласил старого приятеля в избу.

Они сидели за круглым кухонным столом и пили наваристый, с чагой, чай из больших деревянных кружек. И молчали, старательно помешивая в кружках маленькими ложечками, хотя этого не требовалось: они пили чай без сахара. Сёмка-пастух мало-помалу остывал, и вот уж вроде бы и вовсе запаматовал про недавнюю досаду. И ладно. Он не привык долго держать сердца на кого бы ни было. Когда ж приятели сладили с парой кружек, валко и как бы с неохотой вышли на крыльцо, посидели тут малость, ладя самокрутки, а затянувшись пару-другую раз, спустились по скрипучим ступенькам на землю и, легонько покашливая, невесть по какой надобности, но, может, и вовсе без неё, а по привычке, давным-давно поселившейся в них и влекущей к чему-то до сей поры неугаданному, вышли за ворота и ступили на узкую тропку, протягивающуюся от калитки вниз, к Байкалу, подминая под себя тёмно-жёлтый, обильно заросший полынью-травой тупорылый холм, на котором стояла открытая всем ветрам, как бы даже слегка покачивающаяся, колы на неё наваливался шальной северный верховик, с большими светлыми окошками изба Фёдора Кузьмича. Они спустились с холма, а подойдя к самому урезу хрустально-синей воды, запрокинули головы, норовя оглядеть избу снизу, не сразу, но это удалось, и сказал Фёдор Кузьмич:

— Вон, видишь, деревце малое, уцепившееся за обрывистый берег, оно раньше держалось ровненько, хотя земля под ним была слабой, а нынче шибко покосилось, того и гляди, оборвёт корни и скатится вниз. — Вздохнул устало: — А потом наступит черёд моей избе. Чуешь?..

И сказал Сёмка-пастух, как бы враз догадавшись про то, что мучило старого приятеля все последние дни:

— Так ты потому и ходишь с “метром”, чтоб делать замеры, скоко ишо осталось избе до обрывистого скату?

— Теперь уж не хожу. Знаю, сажени две с малой прибавкой осталось. А уж когда те будут пройдены, никому не ведомо. Может, завтра, а может, и через год.

— Я не раз говорил, переселяйся ко мне. И Поживём в тишине да покое, без смуты на сердце.

И, как уж не однажды бывало, Фёдор Кузьмич устало обронил:

— Незачем срывать с места, где хаживали отец мой и маманя, а ещё ранее дед и бабка. Нет уж, я не буду ничё менять. От судьбы не уйдёшь.

Фёдор Кузьмич прошёл к урезу воды, отыскал глазами иссиня-жёлтый, должно быть, от мшистой накипи, ещё не успевшей раствориться на солнце, ребристый камень, сел на него, показал рукой на такой же камень, приткнувшийся серым боком к воде. Сёмка-пастух, не мешкая, опустил на него и вытянул ноги, а чуть погода закрыл глаза и задремал, ощущая на лице текущие по нему, обретая лёгкую прохладу, солнечные лучи: день-то угасал, и солнце заметно ослабло. И тут же, когда лёгкая, ещё неокрепшая дрёма коснулась сознания, невесть что померещилось, но надо быть, что-то, вгоняющее в душевную смуту. Он едва совладал с нею, вскочил на ноги, но увидел Фёдора Кузьмича и обрадованно сказал:

— Так это ты?.. Слава Богу. А мне новость чё померещилось. Будто-де... Будто-де...

Но тут же и замолчал. Было заметно, что это далось ему с большим трудом. В смуглом длинном лице, казалось, напряглась каждая хотя бы и едва приметная жилка, а подле узких, с рыжеватым оттенком глаз появились тонкие морщинки, которым вроде бы не место тут, во всяком случае, Фёдор Кузьмич прежде ни разу не видал их на лице у старого приятеля. И ему сделалось не по себе, запощипывало на сердце, и он не стал удерживать приятеля, когда тот, сославшись на нездоровье, неожиданно заторопился на отечное подворье. Проследил за тем, как Сёмка-пастух медленно взбирался на холм по гибкой вёрткой тропке, а когда тот скрылся в сером тумане, пришедшем откуда-то снизу, должно быть, от протекавшего по распадку горного ручья, и сам поднялся с камня и медленно, через шаг останавливаясь и покашливая, побрёл по тропке, думая про то, что так обеспокоило приятеля. В его болезнь он не поверил. Сёмка-пастух сроду ни на что не жаловался, как если бы вытесан был из байкальского камня, к нему не приставали никакие застуды, он, бывало, и зимой, когда во дворе стоял лютый, градусов под сорок, мороз, приходил к Фёдору Кузьмичу в одной рубашке, а на ворчанье хозяина отвечал, что с ним ничего худого не случится, и не надо бояться, что подхватит простуду.

“Мда, чё же всё-таки стряслось, — думал Фёдор Кузьмич, почёсывая в затылке, — почему Сёмка-пастух сделался сам на себя не похож, суета какая-то в нём появилась, и глаза сделались потерянные, точно бы утратил что-то такое, без чего жисть станет скучной и никому не нужной”. Он с тяжёлым сердцем зашёл в избу. Долго сидел за кухонным столом, положив голову на руки. Надо бы скипятить чаю, но неохота было и рукой пошевелить. Невесть что нынче испытывал, как если бы вдруг очутился в чужом безлюдном краю и стоял посреди огромного белого пространства, где всё вроде бы принадлежало ему, а только почему-то ни к чему не тянуло, мнилось, что он тут не по своей воле, а по воле того, кто теперь, большой и незнамый, вышпался над ним. Нет, он не видел его, но чувствовал чужое присутствие рядом с собой. Порой Фёдор Кузьмич, а точнее, дух его, порывался вырваться из плена, в котором оказался как если бы даже по собственной прихоти: ведь никто не мешал ему, и он, было время, охотно подчинялся собственным раздумьям, многие из которых не грели. Теперь бы он постарался прогнать их. Но уже не мог, ослаб душевно. Его тянуло к себе недавнему, к родному дому. Но как этого добиться, коль скоро всё в нём нынче подчиняемо не ему, а кому-то, управляющему им... И вот, когда подумал, что уж не ступит на отчий порог, а и дальше пребудет в тягостном сердечном утеснении, что-то произошло, отчего в нём всё поменялось, и он обрёл прежние душевные силы и увидел, что сидит у себя на кухне за столом, а перед ним стоит пустая берестяная кружка и рядом с нею — мелкая деревянная миска с парой кусков чёрного чёрствого хлеба.

“Вот как”, — сказал Фёдор Кузьмич, облегчённо вздохнув. А потом зашёл в горницу, постоял возле пожелтевшей иконки с ликом Божьей Матери, намеревался помолиться, но почему-то не отыскал надобных слов. И, пройдя за занавеску, где стояла кровать, прилёг на неё, покряхтывая.

Посреди ночи проснулся от какого-то шума, доносящегося невесть откуда, поднял голову, глянул по сторонам, тут-то и помнилось, будто-де изба зашевелилась всеми своими древесными связями, стронутая с места, должно быть, налетевшим на неё яростным ветром, — на дворе-то нынче осенью пахнет, — и поползла вниз с бугра. Фёдор Кузьмич попервости испугался, потянулся на кухню, а потом и к двери, но на полпути к ней остановился, мысленно сказал: “Чего это я?.. Иль уйдёшь от судьбы?.. Да нет, пожалуй. Стало быть, мне, последнему в своём роду (про сына он и не вспомнил даже), выпало вместе с отчей избой окунуться в прозрачные байкальские воды, покамест лишь по краешку самому утенённые дурным разнотравьем, и там сгинуть. Но, может, и обрести другую форму. Хотя... Чего это я, как если бы уверовал в то, будто-де и там есть жизнь?.. А чё, разве не так?.. Чудно!..”



Сёмка-пастух спал в эту ночь плохо, всё-то ворочался с боку на бок и бормотал под нос чаще что-то несурзное, вроде бы никому не принадлежашее, порой не прозреваемое им самим. Тихонько скрежетал зубами и выставлял какие-то смутные слова. Иной раз можно было уловить, что он обращался к Фёдору Кузьмичу с намереньем подбодрить его, говоря, что тот ещё поживёт хотя бы и не понятый сородичами. “Стало быть, так выпало, и здесь некого винить”.

Много чего вышлеснул Сёмка-пастух в ту ночь из сердца, почему, проснувшись, чувствовал себя разбитым и не способным рукой пошевелить. Но через какое-то время всё ж свернул постель и вышел на подворье. Подойдя к калитке и придерживая её, долго глядел в ту сторону, где, обдуваемая семью ветрами, стояла на холме изба Фёдора Кузьмича. И не увидел её. Должно быть, избу накрыло в предутрие стелющимся над землёй розовым туманом. Но так ли?.. А что, если?.. Чуть погода поспешно пересёк пустынную в предзоровой час улочку, обильно унавоженную коровьими лепёхами, и поднялся на холм. Избы не оказалось на прежнем месте, а возле порущья лежала сорванная с укрепов покорёженная крыша и рядом с нею валялись почернелые, прогнившие насквозь плахи, надо быть, сбитые с крыльца порывами хлёткого ветра. Вспомнил, что в эту ночь было шибко ветрено и колоче от сшибленных непогодой с тонкоствольных берёз порыжелых веток. Он раза три, гонимый бессонницей и тоской, подталкиваемый тем, что надьсь померещилось, выходил во двор. И даже пытался постоять на крыльце, вглядываясь в ночную сутемь, но не получалось: вконец обезумевший ветер загонял его обратно в избу. Куда уж тут было вскарабкаться на холм, чтоб поглядеть, ладно ли чувствует себя Фёдор Кузьмич.

Он, может статься, и не думал бы теперь про это, да не давало покоя виденье, которое приспело к нему вчера на берегу Байкала. Он тогда словно бы вживе увидел, как съехала с холма изба Фёдора Кузьмича вместе с хозяином, как, хлебнув воды, завалилась на бок. Ещё немного, и её унесёт в море поднимающаяся волна. А същещь ли чего потом, про это, наверное, только Байкал-батюшка знает.

Сёмка-пастух недолго медлил, сорвался с места, скатился с крутоярья, цепляясь руками за остробокие каменя, и через растворённую настежь дверь проник в дивно накренившуюся избу, зацепившуюся за прибрежные валуны, отчего и удержалась на мелководье, облазил все углы её, ища Фёдора Кузьмича. Но того нигде не было. Подумал: а может, он покинул избу до того, как та, сорванная с места шальным ветром, сползла вниз, к Байкалу?.. Это немного успокоило. Но время шло, а Фёдор Кузьмич всё не появлялся. Как в воду канул. Стали подходить люди, с интересом оглядывали место происшествия, пытались понять, что случилось, иные из них спрашивали, где же хозяин-то?.. Сёмка-пастух только пожимал плечами.

А Фёдор Кузьмич и на другой день не появился, и через день, и через месяц. И впрямь, как в воду канул. А избу его мало-помалу расторопные соседи разобрали на дрова. И на том месте, где она стояла, через год-другой выросла высоченная дурная трава. И в Подлеморье, как если бы по команде, очень скоро забыли про бывшего фельдшера. Но, может, и не было никакой команды, а только всем вдруг отчаянно захотелось избавиться от чувства вины, замутившей в душах, пред человеком, кого сделали изгоем и преследовали?.. Нет, они не спрашивали у себя: заслуживал он этого иль нет?.. Не всё ли равно, время всё спешет. Но так ли?..

Никто не поднялся на холм, заросший дурнотравьем. Люди избегали этого места, точно бы боясь потревожить что-то в себе. И только длиннорукый согбенный человечек с безбровым грустным лицом, про кого говорили, что в прежнее время он был пастухом, ещё многие годы приходил сюда и сидивал на чудом сохранившейся лавочке, подвинутой к большому серому камню, и, впадая в дрёму, чему-то ласково улыбался тонкими, потрескавшимися губами.